

Действующие лица

Первый (актер, выступающий от имени Чаадаева).

Второй (актер, ведущий линию Пушкина).

Первый. Сумасшедший. Я — сумасшедший. Если человек сам о себе говорит, что он безумен, то, естественно, возникает подозрение о его нормальности.

Второй. Меня часто называли безумцем, и я никогда не отрекался от этого звания и на этот раз говорю — аминь — как я делаю всегда, когда мне на голову падает кирпич, так как всякий кирпич падает с неба.

Первый. Я объявлен сумасшедшим по Высочайшему повелению. Поражение мое произошло 28 октября 1836 года. Это унылая и смешная история, началась она 27 мая 1794 года в Москве, в тот день, когда я появился на свет.

Второй. В возрасте 3-х лет лишился родителей, воспитывался дядей князем Дмитрием Михайловичем Щербатовым, братом известного историка Михаила Михайловича Щербатова. Учился в Московском университете. Товарищами по университету были Грибоедов, Тургенев, Якушкин, Снегирев, братья Муравьевы, Якубович... Благодаря семейным связям и богатству вступил в гвардию лейб-прапорщиком в Семеновский полк. В Отечественную войну быстро продвигался по службе, участвовал в сражениях под Бородином, Тарутином, при Малом Ярославце, Люцене, Бауцене, под Кульном и Лейпцигом. В 1817 году назначен адъютантом гвардейского корпуса генерал-адъютанта Васильчикова. Любой моло-

дой человек этого времени мог позавидовать такой карьере. Государь Александр I прочил его в свое ближайшее окружение, мог стать адъютантом будущего императора Николая Павловича и... потрясающее событие для общества, подача в отставку и увольнение от службы 21 февраля 1821 года и уже до конца дней своих, до самой смерти 14 апреля 1856 года.

Первый. Я действительно должен был получить должность флигель-адъютанта, и таким образом, оказаться в свите императора, и в будущем, может быть, первым государственным чиновником России, но я нашел более забавным презреть эту милость, чем получить ее. Меня забавляло высказывать мое презрение людям, которые всех презирают. Во мне слишком много истинного честолюбия, чтобы тянуться за милостью и тем нелепым унижением, которые она доставляет... Быть слугою... Но быть рабом?!

Второй. Идти собой умножить дворовые толпы измученных рабов?

Первый. С Пушкиным я познакомился в 1816 году в Царском Селе в доме Николая Михайловича Карамзина, а до встречи мне его хвалил Грибоедов. Мы приобщили его к нашему гусарскому застолью, к серьезным беседам просвещенных людей, поэт знакомил нас со своими новыми стихами. В 1818—20-х годах наше общение стало самым тесным, особенно в области книг, у меня была к этому времени едва ли не самая лучшая из библиотек России, и наше совместное чтение сделалось излюбленным нашим занятием.

Ранней весной 18-го года вошел ко мне бледный Пушкин, не вбежал, не влетел, не вломился, как обычно, а именно тихо-тихо вошел и говорит — Петр Яковлевич, вы были правы, я действительно гений. Слушайте, это называется «К Чаадаеву».

Второй.

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,

Как ждет любовник молодой,
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Первый. Вчера мы спорили с ним весь вечер. С криком «Ура!» он влетел ко мне, тормозил, целовал и, запылаясь и захлебываясь, стал читать мне речь Александра на Польском сейме, в которой царь обещал конституционное правление в России. Как ни пытался я охладить его пыл разумным подходом к оценке политической и исторической ситуации в России, что если и падет у нас рабство, то не «по манию царя», все было напрасно. И вот, видимо, всю ночь Пушкин не спал, продолжая мысленно спорить со мной, потом схватился за перо, бумагу; исчеркал не один десяток листков, и теперь вдруг неожиданно повзрослевший на... нет, не на сколько-то там лет, а мудрый гений, пророк шепчет мне...

Второй.

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Первый целует Второго в лоб; тот прижимается головой к груди друга. Долго молча стоят, потрясенные случившимся. Музыка.

Первый (*голос на музыке*). Бедный мальчик, он еще не знает, как тяжел этот венец гения, как горяча эта печать бога, светящаяся на его смуглом лбу, на какую муку обречен истинный талант в России.

В 1821 году Якушкин принял меня в тайное общество «Союз благоденствия», в котором закладывались основы Северного общества. Но мне всегда казалось, что мои друзья могут впасть в какую-то страшную ошибку, и что роковое потрясение должно разбросать нас в пространстве, и что только в своем уединении я могу найти свой путь высшей правды и пути ее исповедания.

Я путешествовал за границей. Беседовал с умнейшими людьми этого мира. Много думал. Потом я попытаюсь изложить свои мысли в некоем сочинении, для которого я избрал форму философических писем, написанных частному лицу, где ставлю вопросы об особенностях исторического развития России и русской общественной мысли.

Пушкин получил мою рукопись в начале 31-го года (в середине мая) и увез из Москвы с собою в Петербург (шестое и седьмое письмо) из восьми моих философических писем, чтобы напечатать их в Петербурге с помощью товарища министра народного просвещения Блудова и издателя Беллизара. Однако сделать это не удалось. И на мою просьбу вернуть рукопись отвечал мне...

В т о р о й. Оставьте ее мне еще на некоторое время. Я только что перечел ее. Все, что вы говорите о Моисее, Риме, Аристотеле, об идее истинного бога, о древнем искусстве, о протестантизме, изумительно по силе, истинности или красноречию. Все, что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно. Ваше понимание истории для меня совершенно ново и я не всегда могу согласиться с вами. Например, для меня непостижима ваша неприязнь к Марку Аврелию и пристрастие к Давиду (псалмами которого, если только они действительно принадлежат ему, я восхищаюсь). Не понимаю, почему яркое и наивное изображение политеизма возмущает вас в Гомере. Помимо его поэтических достоинств, это, по вашему признанию, великий исторический памятник. Разве то, что есть кровавого в Илиаде, не встречается также и в Библии? Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской. Я плохо излагаю свои мысли, но вы поймете меня. Пишите, мой друг, даже если бы вам пришлось бранить меня. Лучше, говорит Экклезиаст, внимать наставлениям мудрого, чем песням безумца.

П е р в ы й. Мое пламеннейшее желание, друг мой,— видеть вас посвященным в тайну времени. Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, кто должен был властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинам черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении вперед; говоришь себе, зачем этот человек мешает мне идти, когда он должен был бы вести меня? Это поистине бывает со мной всякий раз, когда я думаю о вас, а думаю я о вас столь часто, что совсем измучился. Не мешайте же мне идти, прошу вас.

Если у вас не хватает терпения, чтобы научиться

тому, что происходит на белом свете, то погрузитесь в себя и извлеките из вашего собственного существа тот свет, который неизбежно находится во всякой душе, подобно вашей.

Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на Земле. Не обманите вашей судьбы, мой друг.

Говорю вам, как некогда Магомет говорил своим арабам,— о, если б вы знали! Пишите мне по-русски, вам не следует говорить на другом языке, кроме языка вашего призвания.

В т о р о й.

В стране, где я забыл тревоги прошлых лет,
Где прах Овидиев пустынный мой сосед,
Где слава для меня — предмет заботы малой,
Тебя недостает душе моей усталой.
Врагу стеснительных условий и оков
Не трудно было мне отвыкнуть от пиров,
Где праздный ум блесит, тогда как сердце
дремлет,

И правду пылкую приличий хлад объемлет.
Оставя шумный круг безумцев молодых,
В изгнании моем я не жалел об них;
Вздохнув оставил я другие заблужденья,
Врагов своих предал проклятию забвенья,
И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы.
И в просвещении стать с веком наравне.
Богини мира, вновь явились музы мне
И независимым досугам улыбнулись;
Цевницы брошенной уста мои коснулись,
Старинный звук меня обрадовал: и вновь
Пою мои мечты, природу и любовь,
И дружбу верную, и милые предметы,
Пленявшие меня в младенческие леты,
В те дни, когда еще не знаемый никем,
Не зная ни забот, ни цели, ни систем,
Я пеньем оглашал приют забав и лени
И царскосельские пленительные сени.

Первый. Это несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами. Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе и что из этого впоследствии было бы нечто полезное и для нас и для других.

Второй.

Но дружбы нет со мной:

печальный, вижу я

Лазурь чужих небес, полдневные края;
Ни музыки, ни труды, ни радости досуга,
Ничто не заменит единственного друга.
Ты был целителем моих душевных сил;
О, неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства, может быть, спасенные тобою!
Ты сердце знал мое во цвете юных дней;
Ты видел, как потом в волнении страстей
Я тайно изнывал, страдалец утомленный;
В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой;
Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором!
Твой жар воспламенял к высокому любовь,
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть:
Умел я презирать, умея ненавидеть.

Первый. Мысли о вас пришли мне в голову — угадайте где? — в Английском клубе. Вы мне говорили, что вам пришлось бывать там; я бы вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колоннад, в тени этих прекрасных деревьев; сила излияния наших умов не замедлила бы сама собой проявиться.

Второй.

Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,
Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветлив себя, загладил свой позор;
Отвыкнул от вина и стал картежный вор?
Оратор Лужников, никем не замечаем,
Мне мало досаждал своим безвредным лаем.
Мне ль было сетовать о толках шалунов,
О лепетанье дам, зоилов и глупцов
И сплетней разбирать игривую затею,

Когда гордиться мог я дружбою твоею?
Благодарю богов: прошел я мрачный путь;
Печали ранние мою теснили грудь;
К печалям я привык, расцелся я с судьбою
И жизнь перенесу стоической душою.

Первый. О как желал бы я вызвать сразу все силы
вашего поэтического существа! Как желал бы я извлечь
из него все то, что, как я знаю, скрывается в нем, дабы
вы дали нам услышать когда-нибудь одну из тех песен,
какие требует век. Как тогда все, что теперь бесследно
для вашего ума проходит перед вами, тотчас поразило
бы вас! Как все приняло бы новый облик в ваших глазах.

Второй.

Одно желание:

останься ты со мной!

Небес я не томил молитвою другой.

О скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?!

Когда соединим слова любви и руки?

Когда услышу я сердечный твой привет?

Как обниму тебя! Увижу кабинет,

Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель

И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель;

Приду, приду я вновь, мой милый домосед,

С тобою вспоминать беседы прежних лет,

Младые вечера, пророческие споры,

Знакомых мертвецов живые разговоры;

Поспорим, перечтем, посудим, побраним,

Вольнолюбивые надежды оживим,

И счастлив буду я: но только, ради бога,

Гони ты Шепинга от нашего порога.

Первый. Смутное сознание говорит мне, что скоро
придет человек, имеющий принести нам истину време-
ни. Так или иначе будет пущено в ход движение, имею-
щее завершить судьбы рода человеческого. Спора нет,
бури и бедствия еще грозят нам; но уже не из слез на-
родов возникнут те блага, которые им суждено полу-
чить. Нет, мой друг, пути крови не суть пути провиде-
ния. Вам хочется потолковать со мной: потолкуем, но
берегитесь, я не в веселом настроении; а вы, вы нервны.
Да и о чем мы с вами будем толковать? У меня только
одна мысль, вам это известно, если бы невзначай я и на-
шел в своем мозгу другие мысли, то они, наверно, будут
стоять в связи со сказанной. Если бы вы хоть подска-
зали мне какие-нибудь мысли из вашего мира, если бы вы
вызвали меня? Но вы хотите, чтоб я начал говорить пер-
вый, ну что ж; но еще раз берегите свои нервы.

Мне пришлось видеть недавно письмо вашего друга, великого поэта: это такая беспечность и веселие, что страх берет. Можете ли вы объяснить мне, как подобный человек, знакомый некогда с печалью всех вещей, не испытывает ныне ни малейшего чувства горя перед гибелью целого мира?

Второй. Ему ведь под пятьдесят. А иногда говорят о старом человеке: бедный! Он стал опять ребенком!

Первый. Нет, он, видно, не выходил еще из ребячества. Пересмотрите жизнь его: вероятно, прежде он ребячился больше, нежели теперь, а теперь продолжает быть тем, чем всегда был.

Итак, вот что я вам скажу. Воистину некий мир погибает! Скажите же мне прошу вас, как это отзывается на вас?

Второй. У меня предчувствие нового мира. Разве есть какая-нибудь возможность не быть затронутым в задушевнейших своих чувствах среди этого всеобщего столкновения всех начал человеческой природы!

Первый. Этот великий переворот в вещах — готовый материал для поэзии. Возникновение нового мира на месте старого. Я убежден, что это чувство и эта мысль неведомо для вас тлеет где-нибудь в глубинах вашей души; только они не проявляются вовне, они погребены, по всей вероятности; они под кучей старых мыслей, привычек, условностей, приличий, которыми, что бы вы ни говорили, неизбежно пропитан каждый поэт, хотя бы он и принимал против этого всякие меры, ибо, мой друг, начиная с индуса Вальминки, певца «Рамаяны», и грека Орфея до шотландца Байрона, всякий поэт принужден был доселе повторять одно и то же, в каком бы месте света он ни пел.

Второй. Однако как вы всех нас в одну кучу!

Первый. Так скажите же мне, заметили ли вы, что происходит нечто необычное в недрах морального мира; как это отзывается на вас? Вы не можете оставаться безучастным, должны найти здесь, как мне кажется, богатую пищу.

Второй.

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но как вино, печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья;
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Первый. Теперь я должен видеть у себя ежедневно господ медиков, официально меня навещающих и докладывающих ежемесячно о моем здоровье самому государю.

Второй. Как же произошло это странное происшествие?

Первый. Издателю «Телескопа» попался как-то в руки перевод на русский язык одного моего письма, шесть лет тому назад написанного и давно всем известного, так как оно многократно переписывалось от руки многими людьми, и часто читалось в гостиных разных домов, и я никогда не делал из этого письма секрета. На мне лежит, правда, ответственность за согласие напечатать это письмо. На вопрос издателя я легкомысленно ответил: «Пожалуй, печатайте», но еще до моего согласия издатель отдал письмо в цензуру; цензора, не знаю как, уговорил пропустить; потом отдал в печать и тогда только уведомил меня, что печатает. Я сначала не хотел этому верить, но, получив отпечатанный лист-корректуру и видя в самой чрезвычайности этого случая как бы нарек провидения, дал свое согласие.

Статья вышла без имени, но тот же час была узнана и тот же час поднялся крик. Через две недели издание журнала прекращено, издатель сослан в Вологду, цензор отставлен от должности, а я продолжаю жить сумасшедшим, впредь до нового распоряжения.

Теперь известны и подробности этого происшедшего со мной приключения, наверное, будет уместным о них рассказать, чтобы с этим сразу покончить и очистить совесть.

Второй. Министр народного просвещения граф Уваров Сергей Семенович направил на имя государя следующий доклад: «Усмотрев в № 15 журнала «Телескоп» статью «Философические письма. Письмо первое», которая дышит нелепою ненавистью к отечеству и наполнена ложными и оскорбительными понятиями как насчет прошедшего, так и насчет настоящего и будущего существования государства, я предложил сие обстоятельство

на рассуждение главного управления цензуры. Управление признало, что вся статья равно предосудительна в религиозном, как и в политическом отношении. Вследствие сего главное управление цензуры предоставило мне довести о сем до сведения Вашего Императорского Величества и испросить Высочайшего разрешения на прекращение издания журнала «Телескоп» и на немедленное удаление от должности цензора Болдырева, пропустившего оную статью».

Первый. Государь Николай I написал на докладе Уварова: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу».

Второй. Бенкендорф Александр Христофорович — шеф жандармов и начальник III Отделения — составил следующий проект отношения к московскому военному генерал-губернатору князю Голицыну:

«В последневышедшем номере журнала «Телескоп» помещена статья «Философические письма», коей сочинитель есть живущий в Москве г. Чаадаев. Сия статья, конечно, уже Вашему Сиятельству известная, возбудила в жителях московских всеобщее удивление. В ней говорится о России, о народе русском, его понятиях, вере и истории с таким презрением, что непонятно даже, каким образом русский мог унижить себя до такой степени, чтобы нечто подобное написать. Но жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся чистым, здравым смыслом и будучи преисполнены чувства достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок. И потому, — как дошли сюда слухи, — не только не обратили своего негодования против г. Чеодаева, но, напротив, изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей. Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания вашего, приняли надлежащие меры в оказании г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий. Его Величество повелевает, дабы вы поручили лечение его искусному медику, вменив сему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать г. Чеодаева и чтоб было

сделано распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья. Государю Императору угодно, чтоб Ваше Сиятельство о положении Чеодаева ежемесячно доносили Его Величеству».

Первый. На этом проекте отношения император Николай I собственноручно написал: «Очень хорошо».

Когда мой друг Михаил Федорович Орлов пытался защитить меня перед Бенкендорфом, указывая ему на позитивную программу и веру в будущее России в моих других письмах, Бенкендорф ему нравоучительно заметил:

Второй. «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение; вот, мой друг, точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана».

Первый. После того как Орлов передал мне сии бессмертные слова, которые золотыми буквами будут вписаны в сердца всех будущих правителей России, мы торжественно встали и преклонили свои головы в долгом почтительном молчании... Слова здесь неуместны!

Второй. Но, друг мой, мы не склоним обнаженного чела под шквалами, свистящими вокруг нас. Нас обоих треплет буря, будем же рука об руку твердо стоять среди прибоя, сохраним нашу православную дружбу и пусть мир себе катится к своим неисповедимым судьбинам.

Первый. Публичность схватила меня за ворот в то самое время, как я наименее того ожидал. Случай странный! В чем же это чудо, что идея, которой от рода скоро будет две тысячи лет, идея преподаваемая, читаемая, проповедуемая тысячью высокими умами, тысячью святыми, пробила себе свет у нас и наделала столько шуму? Меня весь этот гвалт занимает весьма мало. Я никогда не думал о публике, и даже никогда не мог постигнуть, как можно писать для такой публики, как наша? Это все равно, что обращаться к рыбам морским и птицам небесным. И есть люди, которые находят, что в интересах общественных полезно было бы воспретить мне пребывание в столице. По счастью, наше правительство всегда благоразумнее публики, стало быть, я в доброй надежде, что не шумливые крики сволочи укажут ему его поведение.

У меня нет демократических замашек, и я никогда не искал благорасположения толпы, но мне очень дорого мнение людей, почтивших меня своей дружбой. Приятели мои посещают меня довольно часто, и некоторые из них поступают с редким благородством; но всего утешительнее для меня дружба моих милых хозяев Левашовых и учителя их детей Белинского.

Второй. Развязки покамест не предвижу да и, признаться, не разумею, какая тут может быть развязка. Сказать человеку, «ты с ума сошел» немудрено, но как сказать ему — «ты в полном разуме»?

Первый. Однако говорят, что правительство, поступив таким образом, думало поступить снисходительно.

Второй. Этому очень верю, ибо нет в том сомнения, что оно могло поступить несравненно хуже.

Первый. Говорят также, что публика крайне оскорблена некоторыми выражениями письма...

Второй. Странно, что сочинение, в продолжение многих лет читанное и перечитанное в подлиннике, где, разумеется, каждая мысль выражена несравненно сильнее, никогда никого не оскорбляло, в слабом же переводе всех поразило!

Первый. И даже не сочинение. Всего-то писем восемь, и первое письмо — это только как бы вступление к остальным семи письмам, в нем только ставится вопрос и только во втором, третьем, четвертом и пятом я перехожу к многостороннему его рассмотрению.

В шестом и седьмом я рассматриваю важные эпохи мировой истории, и только в восьмом, последнем, пытаюсь объяснить смысл моего писания. Что же всех так поразило в этой небольшой части целого?

Второй. Это отчасти должно приписать действию печати: известно, что печатное легче разбирать чем писанное. И вот они по одному только увиденному пальцу догадались, что имеют дело со слонем.

Первый. Но ведь все это написано мною восемь-шесть лет назад. Может быть, я теперь другого образа мыслей, совершенно противоположного, но об этом никто не догадался меня спросить, может быть, сначала нужно спросить у меня объяснений, а потом уже поднимать против меня общественный крик?

Второй. Эти писания шесть лет благосклонно читали, их переписывали, они сделались известными вне России, и автор получил несколько лестных отзывов от некоторых литературных знаменитостей. Некоторые

отрывки из них были переведены на русский язык, три года назад появилась серьезная книга Ястребцова, вся исполненная этими мыслями, и вдруг...

Первый. Или все это сделал один Уваров, творец знаменитой формулы «православие, самодержавие и народность», который войдет в историю как президент Академии наук, министр народного просвещения и враг Пушкина! Пушкин не называет его иначе, как негодяй, шарлатан, вор и бесчестный подлец! Ну, подлец, понятно... А вот друг Пушкина, наш поэт Языков, что пишет обо мне?

Вполне чужда тебе Россия,
Твоя родимая страна!
Ее предания святые
Ты ненавидишь все сполна.
Свое ты все презрел и выдал,
Но ты еще не сокрушен,
Но ты стоишь, плешивый идол
Строптивых душ и слабых жен!

Видите? Он еще призывает меня сокрушать. А когда Аксаков Константин Сергеевич, создатель гармонии русской истории, проявил ко мне сочувствие, Языков действительно с ума сошел и написал Аксакову:

Дай руку мне. Но ту же руку
Ты дружелюбно подаешь
Тому, кто гордую науку
И торжествующую ложь
Глубокомысленно становится
Превыше истины святой.
Тому, кто нашу Русь злословит
И ненавидит всей душой,
И кто неметчине лукавой
Предался — и вослед за ней,
За госпожою величавой
Идет — блистательный лакей...

Второй. Да что ума, что таланту! Ну да бог с ним. А вот наш друг, бравый герой Денис Васильевич Давыдов:

...и вот
В кипет совещанья
Утопист идеолог,
Президент собранья,
Старых барынь духовник,
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик...

Первый. А вот патриот немец Вигель, величающий меня плешивым лжепророком, доносит начальству, что народ препрославленный поруган мной и унижен до невероятности, а Татищев возмущен, что под прикрытием проповеди в пользу папизма я излил на свое собственное отечество такую ужасную ненависть, что она могла быть внушаема мне только адскими силами.

Второй. С Татищевым тоже все ясно, но вот Петр Андреевич Вяземский, уж на что умный человек, пишет нашему другу Тургеневу Александру Ивановичу, что находит в письме непомерное самолюбие, раздраженную жажду театрального эффекта и большую неясность, зыбкость и туманность в понятиях. И далее восклицает: «Что за глупость пророчествовать о прошедшем! И думать, что народ скажет за это спасибо, за то, что выводят по старым счетам не то что ложное число, а просто нуль! Такого рода парадоксы хороши у камина, для оживления разговора, но далее пускать их нельзя, особенно же у нас, где умы не приготовлены и не обдержаны прениями противоположных мнений».

Первый. И Тургенев в ответ: «Я совершенно согласен с тобой!»

Это ладно, а вот горячая молодежь из университета собралась было кулаками и дубьем идти доказывать мне ошибочность моих мнений о России. Спасибо государю, вовремя объявил меня безумным, не пойдут же они бить сумасшедшего, вот только жаль, что теперь я за оскорбления не смогу вызвать на дуэль, а плевать в лицо не в моих правилах.

Пушкин долго обдумывал мое письмо, и уж было хотел отправить мне ответ, но Россет, которая знала, что он пишет мне письмо, посоветовала не отправлять мне его по почте, так как она узнала о мнении государя.

Неужели же и Пушкин не понял? Как я хочу прочесть это письмо! Просил передать Жуковскому, чтобы мне прислали копию! Вот Белинский утверждает, что мне не следует ждать в этом письме ничего для себя утешительного. Белинский горяч и слишком уж категоричен, обвинил Пушкина в идейном отступничестве и, более того, открыто заявил, что Пушкинский гений мертв. Нет, Виссарион Григорьевич, гении не умирают, даже в мертвых точках общественной мысли гений жив. Вы даже вообразить себе не можете, что такое Пушкинская история Петра! А последнее его очаровательное создание, его побочный ребенок — «Капитанская дочка»? — которое дало мне ми-

нута отдыха от гнетущего меня уныния; особенно очаровали меня в нем его полная простота, утонченность вкуса, столь редкие в настоящее время, столь трудно достижимые в наш век, век фатовства и пылких увлечений, рядящихся в пестрые тряпки и валяющихся в мерзости нечистот, подлинная блудница в бальном платье и с ногами в грязи. А чего стоит одно только его стихотворение (из Пиндемонти), и, конечно, никакой это ни Пиндемонте, это Пушкин.

Второй.

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль: слова, слова, слова.
Иные, лучшие, мне дороги права,
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья,
Вот счастье! вот права...

Первый. Не могу выразить того удовлетворения, которое Пушкин заставляет меня испытывать. Да в одном стихотворении «Клеветникам России» больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в нашей стране, не все согласны со мной, но мы пойдем вперед, кто угадал... малую часть той силы, которая нами движет, другой раз угадаешь ее... наверное, всю.

Найдется сейчас в России хоть десяток умов, способных понять и оценить смысл мною сказанного? Некогда я мечтал, что мне дано распространить среди моих друзей кое-какие святые истины, и я говорил с ними, и подчас они слушали меня. Но нагрязнул ураган, и поднялся

прах пустыни, забил уши, заглушил мой голос. Да будет воля твоя, о мой боже, суды твои всегда праведны. Я стремился к отрадному удовлетворению увидеть вокруг себя ряд целомудренных и строгих умов, ряд великодушных и глубоких душ, чтобы вместе с ними призывать милость неба на человечество и на родину.

Я думал, что моя страна предназначена первая провозгласить простые и великие истины. Химеры, мой друг, химеры все это! Но все же будем надеяться о братьях наших, о наших детях, о священной родине нашей, столь великой, столь могущественной, столь смиренной, столь спокойной. Если земля нам неблагоприятна, то что мешает нам взять приступом небо? Обратитесь с воплем к небу, — оно ответит вам. Да совершится будущее, каково бы оно ни было, сложим руки, и будь что будет, или склонившись перед святыми иконами, как наши благочестивые предки, эти герои покорности, станем ждать в молчании и мире душевном, чтобы оно разразилось над нами, какое бы то ни было, доброе или злое.

Но пока любезный Василий Андреевич Жуковский исполнит свое обещание прислать мне хотя бы список с письма Пушкина, написанного ко мне в то время, это его последнее слово ко мне, возвратимся снова к моей глупой статье.

В конце сентября 1836 года в России выходит в свет 15-я книга «Телескопа», где в отделе «Науки и искусства» и была опубликована моя статья под названием: «Философические письма к г-же***. Письмо 1-ое». Вместо подписи значилось: «Некрополис. 1829 г. декабря 17» с редакционным примечанием: «Письма эти писаны одним из наших современников. Ряд их составляет целое, проникнутое одним духом, развивающее одну главную мысль. Возвышенность предмета, глубина и обширность взглядов, строгая последовательность выводов и энергическая искренность выражения дают им особое право на внимание мыслящих читателей. В подлиннике они писаны на французском языке. Предлагаемый перевод не имеет всех достоинств оригинала относительно наружной отделки. Мы с удовольствием извещаем читателей, что имеем дозволение украсить наш журнал и другими из этого ряда писем».

Перевел письмо на русский язык сын флотского врача, 25-летний сотрудник журнала «Телескоп» Виссарион Григорьевич Белинский вместе с другом Герцена Николаем Христофоровичем Кетчером. С Александром

Ивановичем Герценом в 1834 году я познакомился у моего друга Орлова перед самым его арестом и высылкой в Вятку. Вот как сам Герцен описывает впечатление от прочтения моего письма.

В т о р о й. «Я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку «Телескопа». Нужно жить в глуши и ссылке, чтобы оценить, что значит новая книга. Я, разумеется, бросил все и принялся разрезать «Телескоп» — «Философические письма», писанные к даме, без подписи. В подстрочном примечании было сказано, что письма эти писаны русским по-французски, то есть что это перевод. Все это предубедило меня против статьи, и я принялся читать «критику» и «смесь».

Наконец, дошел черед и до «Письма». Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие и много испытывавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда... Читаю далее — «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося в душе.

Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал... Я боялся, не сошел ли я с ума... Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах. Имя автора я узнал через несколько месяцев...» Чаадаев... подобно призывной трубе прозвучало это письмо; сигнал был дан, прерванная традиция русской свободной мысли связалась, «мертвая точка» в развитии русской общественной мысли преодолена, пустота была заполнена, началась точка перелома общественного мнения. Но сам Чаадаев, совершивший этот роковой рывок, был раздавлен и превращен в ничто. Чаадаев и Орлов были первые лишние люди, с которыми я встретился. Но сам Чаадаев говорил о себе, пока я «ничто», я — «нечто»! Что же, наконец, за чудовище, называемое Россией, которому нужно столько жертв? Это бездонная пучина, где тонут величайшие пловцы...

П е р в ы й. Значит, нас уже трое? Мой верный друг Орлов, я, Герцен. А Белинский? Значит — четверо. И в этом же 1836 году появилось стихотворение, вполне вероятно обращенное ко мне.

Второй.

Великий муж! Здесь нет награды
Достойной доблести твоей!
Ее на небе сыщут взгляды
И не найдут среди людей.
Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И, услышав твое название,
Твой сын душою закипит.
Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: «Он любил отчизну!»

Первый. Эти стихи написал Михаил Юрьевич Лермонтов, он будет пятый. Сравните с моими мыслями его слова из «Думы»:

Печально я гляжу на наше поколенье

К добру и злу постыдно равнодушны
И перед властью — презренные рабы

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодovitой,
Ни гением початого труда...

Или сравните его слова о Родине:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Сравните с ранее сказанными мной словами: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло... Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впасть в их ошибки, в их заблуждения и суеверия».

Да, Лермонтов наш. Кого еще берем в наш список? Конечно же, без оглядок и оговорок и в этот раз без комментариев нашего ученика, друга и учителя Николая Васильевича Гоголя, итого шесть! Седьмой номер, для завершения аккорда дадим нашему несравненному

Александр Сергеевичу, хотя с ним разговор еще не закончен. Надо бы для порядка сюда хотя бы иного иностранца, возьмем первого мыслителя Германии, который открыл мне дотоле неизвестный новый мир — человеческую душу, Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга; как недавно сообщил мне Иван Сергеевич Гагарин, глубочайший мыслитель нашего времени считает меня самым умным из известных ему умов, более того, Шеллинг считает меня одним из наиболее прекрасных людей, когда либо встреченных им в жизни. Итак, восемь. Кто еще хорошо отзывался обо мне? Друг Шеллинга Федор Иванович Тютчев, мой решительный противник, по который часто говорит обо мне: «Человек, с которым я согласен менее, чем с кем бы то ни было, и которого, однако, люблю больше всех». Я как-то подшутил над Тютчевым, серьезно поблагодарив его за стихи, посвященные мне, хотя всем известно, что они обращены к Карамзину:

Мы скажем: будь нам путеводной,
Будь вдохновительной звездой —
Свети в наш сумрак роковой,
Дух целомудренно свободный.

На это Тютчев ответил мне такой шуткой! Зная о давней неприязни между мной и Вигелем, он в день именин Вигеля послал ему мой литографированный портрет, от моего имени. Сопроводив его стихами:

Прими как дар любви мое изображение,
Конечно ты его оценишь и поймешь,—
Припомни лишь при сем простое изречение:
Не по-хоро́шу мил, а по́ милу хорош.

Могу представить, как был взбешен Вигель, которого бог при всех его дурных качествах наградил еще и безобразной внешностью.

Да, еще забыли мы сюда включить моего ближайшего друга Якушкина, который не имеет возможности прочесть наше письмо и высказать нам свое мнение. Ах, друг ты мой Иван Дмитриевич, как это попустил господь совершиться тому, что ты сделал? Как мог он тебе позволить до такой степени поставить на карту свою судьбу, судьбу великого народа, судьбу твоих друзей, и это тебе, чей ум схватывал тысячу таких предметов, которые едва открываются для других ценою кропотливого изучения...

Ну что ж, будем до конца справедливы и десятый номер отдадим нашему Николаю Павловичу, который хоть и лишен ума, но вслед за своим папашей каким-то

чисто звериным, собачьим чутьем сумел унюхать во мне своего главного духовного противника, и который один судья в вопросе о том, какое применение следует дать для общего блага способностям того или другого из его подданных. Что еще я могу сказать тому, кто наложил на меня сумасшествие?

Второй. А сейчас, мне кажется, для продолжения нашей беседы самое время снова прочесть это злополучное философическое письмо.

Первый. Итак, читаем письмо, за которое я — сумасшедший! Никак не идут из ума стихи Пушкина:

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, лучше посох и сума;
Нет, лучше труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил, не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:

Второй.

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
 Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
 Нестройных, чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы счастья полн
 В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
 Ломающий леса,
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума.
 Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь, дурака,
И сквозь решетку, как зверька,
 Дразнить тебя придут.

Первый. И наконец, философическое письмо, в несколько сокращенном виде.

«Письмо 1-ое.

Мое учение основано на верховном принципе единства и прямой передачи истины и сводится к идее слияния всех существующих на свете нравственных сил в одну мысль, в одно чувство, и к постепенному установлению такой социальной системы, которая должна водворить царство истины среди людей.

В жизни есть известная сторона, касающаяся не физического, а духовного бытия человека. Для души точно так же существует известный режим, как и для тела; надо уметь ему подчиняться. Это — старая истина, но в нашем отечестве она еще имеет всю ценность новизны.

Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас.

Это происходит от того, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.

Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа — не оказали на нас никакого влияния. То что в других странах уже давно составляет саму основу общежития, для нас — только теория и умозрение. Нам приходится думать даже не о том, чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно размещаются все события дня, у нас их нет и в помине. Речь идет вовсе не о моральных принципах и не о философских истинах, а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщаются непринужденному уму и вносят правильность в душевную жизнь человека.

Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что вызывало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри нас.

В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками.

Не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе.

У каждого народа бывает период бурного волнения,

страстного беспокойства, деятельности неодоуманной и бесцельной. Это эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Ей обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это необходимая основа всякого общества.

Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение зрелого возраста...

Разверните вполне картину эволюции нового общества и вы увидите, как заменяется всюду материальная потребность потребностью нравственной, как возбуждаются в области мысли те великие споры, каких раньше не знало ни одно время, ни одно общество, когда вся жизнь народов превращается в одну великую идею, одно безграничное чувство; и все становится ими, — частная жизнь и общественная, семья и родина, наука и поэзия, разум и воображение, воспоминания и надежды, радости и печали!

Счастливы те, кто носит в сердце своем ясное сознание части, им творимой, в этом великом движении, которое сообщил миру сам бог.

В картине, открывающейся моим глазам с этой высоты, — все мое утешение и сладкая вера в будущее счастье человечества; она одна служит мне убежищем, когда удрученный жалкой действительностью, которая меня окружает, я чувствую потребность подышать более чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо.

То, что я говорил о нашей стране, должно показаться вам исполненным горечи; между тем я высказал одну только правду, и даже не всю. Потом христианское сознание не терпит никакой слепоты, а национальный предрассудок является худшим видом ее, так как он всего более разъединяет людей.

Начиная это письмо, я полагал, что сумею в немногих словах изложить то, что хотел вам сказать; но, вдумываясь глубже, я вижу, что об этом можно написать целый том. По сердцу ли это вам? Но во всяком случае мы едва лишь приступили к рассмотрению нашей темы. Вам не придется долго ждать, завтра же снова берусь за перо.

Некрополь. 1-го декабря 1829 г.»

Для меня очень важно в интересах моей репутации хорошего гражданина, что эта статья не заключает в себе profession de foi (исповедание веры), а только выражение горького чувства, давно истощенного.

Я далек от того, чтобы отречься от своих мыслей, изложенных в этом письме; в нем есть такие, которые я готов подписать кровью. Когда я в нем говорил, например, что «народы Запада, отыскивая истину, нашли благополучие и свободу», я только перефразировал изречение Спасителя: «ищите царствия небесного, и все остальное приложится вам»; и вы понимаете, что это не одна из тех мыслей, которые бросаешь сегодня на бумагу, чтобы завтра стереть, но верно так же и то, что в нем много таких вещей, которых я бы, конечно, не сказал теперь.

Так, например, я дал слишком большую долю католицизму и не показал — сколько есть в нашей истории страниц, которыми мы обязаны христианству.

Я не сказал о многих вещах, которые содействовали сооружению нового общества.

Я не говорил о выгодах нашего изолированного положения, на которые я смотрю, как на самую глубокую черту нашей социальной физиономии и как на основание нашего дальнейшего успеха.

Одним словом, много мыслей и мнений слишком резких, за которые мы отдадим отчет верховному судие, что, однако, не предполагает, чтобы мы были в них ответственны перед людьми.

Поэтому я хочу сам возражать на свою статью, то есть рассматривать тот же вопрос с моей теперешней точки зрения. Может, это поставят мне в вину. Но давно ли запрещено видоизменять свои мнения после такого длинного промежутка времени? Давно ли не позволено уму человека идти вперед, когда ум человека стремится бегом? Кто приказал существу мыслящему на веки веков остаться пригвожденным к одной мысли?

Но сначала еще раз вернемся к тому прошлому злополучному времени. Ах, досадно, что меня не было подле Пушкина в Петербурге, ему не пришлось бы драться на дуэли. И вот только через несколько лет я получил список неотправленного мне Пушкиным письма и черновые наброски к нему... Пушкин гордился моею дружбой, и для меня его дружба принадлежит к лучшим годам моей жизни, к тому счастливому времени, когда каждый мыслящий человек питал живое сочувствие ко всему доброму, какого бы цвета оно ни было, когда

каждая разумная и бескорыстная мысль чтилась выше самого беспредельного поклонения прошедшему и будущему. Нельзя видеть равнодушно, как современники прячут правду от потомков, но я уверен, что настанет время, когда у нас всею и каждому воздастся должное.

Все, что относится до дружбы нашей с Пушкиным, для меня драгоценно, и вот это последнее его ко мне слово:

В т о р о й. «Благодарю вас за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом; в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясли, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные просторы поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Ерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно?»

У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда бы не вызвало реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу. Оно не хочет быть народом.

Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы. А Александр, который привел нас в Париж? И (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал.

Вышло предлинное письмо. Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Что надо было сказать, вы сказали. Действительно, нужно сознаться, наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью, правом и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству человека — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши исторические воззрения вам не повредили... Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передавали вашу рукопись журналистам. Если увидите Орлова и Раевского, передайте им поклон. Что говорят они о вашем письме, они, столь посредственные христиане? Прощайте, мой друг.

Я долго писал это письмо. Сначала черновик, потом набело и вот, перечитав написанное, решил его не отправлять. Ворон ворону глаза не выклюнет».

Первы й.

Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
В чистом поле под раkitой
Богатырь лежит убитый.

Милосердие, говорит апостол Павел, все терпит, всему верит, все переносит; итак, будем всё терпеть, всё переносить, но всему верить — будем милосердны.

Но!!!

Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к божеству. Не через родину, а через истину ведет путь на небо. Правда, мы, русские, всегда мало интересовались тем, что — истина и что — ложь, поэтому нельзя и сердиться на общество, поразившее меня безумием по приговору высшей юрисдикции страны.

Я никогда не добивался народных рукоплесканий, не искал милостей толпы; я всегда думал, что общее мнение отнюдь не тождественно с безусловным разумом, что инстинкты масс бесконечно более страстны, более узки и эгоистичны, чем инстинкты отдельного человека, что так называемый здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл, что не в людской толпе рождается истина; что ее нельзя выразить числом; наконец, что во всем своем могуществе и блеске человеческое сознание всегда обнаруживалось только в одиноком уме, который является центром и солнцем его сферы.

Как же случилось, что мысль, обращенная не к моему веку, которую я, не желая иметь дела с людьми нашего времени, в глубине моего сознания завещал грядущим поколениям,— при той гласности в тесном кругу, как случилось, что она разбила свои оковы и бросилась на улицу вприпрыжку среди остолбенелой толпы?

Величайший из наших царей Петр Великий своим могучим дуновением смел все наши учреждения; он вырыл пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим и грудой бросил туда все наши предания. Он сам пошел в страны Запада и стал там самым малым, а к нам вернулся самым великим. Неужели вы думаете, что если бы он нашел у своего народа богатую и плодоносную историю, живые

предания и глубоко укоренившиеся учреждения, он не поколебался бы кинуть его в новую форму? Неужели вы думаете, что будь перед ним резко очерченная, ярко выраженная народность, инстинкт организатора не заставил бы его, напротив, обратиться к этой самой народности за средствами, необходимыми для возрождения его страны? И, с другой стороны, позволила бы страна, чтобы у нее отняли ее прошлое и, так сказать, навязали ей прошлое Европы? Но ничего этого не было. Петр Великий нашел у себя дома лист белой бумаги и сильной своей рукой написал на нем слова *Европа и Запад*.

Самой глубокой чертой нашего исторического облика является отсутствие свободного почина в нашем социальном развитии. Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что каждый важный факт нашей истории пришел извне, каждая новая идея почти всегда заимствована. Но в этом наблюдении нет ничего обидного для национального чувства; если оно верно, его следует принять,— вот и все.

Есть великие народы,— как и великие исторические личности,— которые нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые таинственно определяет верховная логика провидения: таков именно наш народ, но, повторяю, все это нисколько не касается национальной чести. История всякого народа представляет собою не только вереницу следующих друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей. Именно этой истории мы и не имеем. Мы должны привыкнуть обходиться без нее, а не побивать камнями тех, кто первый это подметил.

Пришла буря! У нас совершается настоящий переворот в национальной мысли. На этот раз толчок исходит не сверху; почин всецело принадлежит стране. Куда приведет нас этот первый акт эмансипированного народного разума? Бог весть! Но кто серьезно любит свою родину, того не может не огорчать глубоко это отступничество наших наиболее передовых умов от всего, чему мы обязаны нашей славой, нашим величием, и я думаю, дело честного гражданина — стараться по мере сил оценить это необычайное явление.

Дело в том, что мы еще никогда не рассматривали нашу историю с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего национального существования не было должным образом охарактеризовано, ни один из великих переломов не был добросовестно оценен;

отсюда все эти странные фантазии, эти ретроспективные утопии, все эти мечты о невозможном будущем, которые волнуют теперь наши патриотические умы. Немецкие ученые открыли наших летописцев, потом Карамзин рассказал звучным слогом дела и подвиги наших государей. В наши дни плохие писатели, неумелые антиквари и несколько неудавшихся поэтов, не владея ни ученостью немцев, ни пером знаменитого историка, самоуверенно рисуют и воскрешают времена и нравы, которых уже никто у нас не помнит и не любит.

Надо признаться, что из всего этого мудро извлечь серьезное предчувствие ожидающих нас судеб.

Не отталкивайте истины, не воображайте, что вы жили жизнью народов исторических, когда на самом деле, похороненные в вашей необъятной гробнице, вы жили только жизнью ископаемых. Именно это я и попытался сделать в труде, который остался неоконченным и к тому статья, так странно задевшая наше национальное тщеславие, должна была служить введением.

Я считаю наше положение счастливым, если только мы сумеем правильно оценить его. Больше того: у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество. Прошлое уже нам не подвластно, но будущее зависит от нас!

Что же, разве я предлагаю моей родине скудное будущее? Это великое будущее, которое, без сомнения, осуществится, будет лишь результатом тех особенных свойств русского народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина.

Мы с изумительной быстротой достигли известного уровня цивилизации, которому справедливо удивляется Европа. Наше могущество держит в трепете мир, мы стали великим народом, теперь нужно стараться лишь постигнуть нынешний характер страны в ее готовом виде, каким его сделала сама природа вещей, и извлечь из него всю возможную пользу.

История не в нашей власти, но наука нам принадлежит; в нашей власти измерять каждый шаг, обдумывать каждую идею, задевающую наше сознание; и для достижения результатов нам нужен только один властный акт верховной воли, которая вмещает в себе все воли

нации, которая выражает все ее стремления, которая уже не раз открывала ей новые пути, развертывала перед ее глазами новые горизонты и вносила в ее разум новое просвещение.

По счастью, мы живем уже не в те времена, когда партийное упорство принималось за убеждение, а выпады сект — за благочестивое рвение. Надо уметь ценить разум, этот инстинкт правды, это последствие нравственного начала, перенесенного из области поступков в область сознания, эта бессознательная логика мышления, дух самоотвержения, отвращение от разделения, страстное влечение к единству, великое действие слияния душ и различных нравственных сил мира в одну душу, в единую силу. Истина едина — это не иное что, как прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли, иначе говоря, — **осуществленный нравственный закон**, цель которого — разрешение мировой драмы, великий апокалиптический синтез. Будем же искать прежде всего царства божия и правды его, а все остальное приложится нам.

Итак, друзья мои...

«...свершилось

Святое дружбы торжество

И душ великих божество

Своим созданием возгордилось...

.

Но в сердце, бурями смиренном,

Теперь и лень, и тишина,

И в умиленье вдохновенном,

На камне, дружбой освященном,

Пишу я наши имена».

К О Н Е Ц